

ЛЮБОВЬ И ГВОЗДИ*

Текст-проза

Часть первая

Сразу же хочу предупредить всех тех, кто собрался прочесть это повествование; более нудного, более никчемного и пустого текста нет ни в одной современной книге. Хочу предупредить, что завязнув в нем, вам будет трудно потом прервать это бесполезное занятие; вы будете внутренне ругать себя, злиться, но продолжать читать всю эту ахинею и тягомотину с раздражением и отвращением. И дело здесь не в авторе, который излагает это повествование — языком, мягко говоря, астризным, а в самих героях, в самой фигуре Плейшнера и в его дурацких поступках.

Сразу же хочу предупредить, что наш Плейшнер это совсем не та фигура, которую сыграл актер Евстигнеев в известном всем фильме. Тот, евстигнеевский Плейшнер, благороднейший человек, ученый, шпион-дилетант, волею судьбы исполнявший рискованное поручение Штирлица, — за что и поплатился собственной жизнью. Плейшнер этого повествования — птица совершенно иного полета. Матерый шпионище-волкодав, хитрый, безжалостный хищник. Между ними ничего нет общего. Разве что только фамилии. Ныне здравствующий Плейшнер является яркой противоположностью своему киношному образу. Скажу даже более: этого проныру я почти что ненавижу. Все они, и Плейшнер, и Штирлиц, типчики те еще! Хотя к Штирлицу у меня отношение двоякое, какое-то не совсем определенное. Кое-какой интерес для меня как для писателя вызывают Гитлер и Сталин, но они, в сущности, уже давно пережеванный материал более маститыми, скажем так, крысятниками. Дотошными буквоедами. Излагателями событий. Мне описывать всю эту гоп-компанию с позиций субъективного альтрематизма и грустно, и противно, но надо. Деваться некуда. Нам, писателям, как известно, платят за текст. Чем больше мы накрутим текста — тем больше получим за свою продукцию. Такова объективная реальность со всеми ее выкрутасами и потрохами.

С нескрываемым отвращением приступаю я к своей обезьяньей работе. Надо писать. Надо заработать пару копеек. Ведь и свою предыдущую кни-

* Печатается с сокращениями

гу "Любовь и гвозди" я также писал с нескрываемым отвращением, а каков результат? Ее нет ни в одном магазине. Все раскуплено, все разворовано, все зачитано до дыр, и даже у меня, у автора, нет ни одного экземпляра.

Иногда я просто плюю на написанный мною текст. Оставляю на нем всяческие пятна. Но самое большое пятно на моей биографии — это то, что я лично знал и имею несчастье знать Плейшнера, этого горе-шпиона, как облупленного. Итак, каков он есть, таковы будут и мои слова о нем. И ты, дорогой читатель, не жди от меня стилистических тонкостей, философских раздумий, щемящих описаний пейзажа, через которые мы, писатели, обычно стараемся передать музыку души какого-нибудь человеческого существа или коровы, одиноко стоящей посреди городской площади под мелким осенним дождем. Корова стоит, щиплет жидкую травку, проросшую меж булыжников, порой протяжно мычит, шлепает своими коровьями лепешками... и тут из-за угла дома появляется в измятом засаленном пальто и шляпе, побитой молью, Плейшнер. Вот он, ссутулясь, осторожно подходит к одинокой корове, и они с любопытством смотрят в глаза друг друга. Корова грустно вздыхает, шпион передергивает плечами и, оглядываясь по сторонам, тихо, но многократно (так же, как когда-то в рейхсканцелярии Гитлера), пугает каким-то непереносимым веществом. Корова, отвернув голову, пятится от Плейшнера, а тот, постояв еще с минуту, движется дальше. Двигается своей шпионской походкой, задевая коленкой об коленку. Вот вам и весь *наш* Плейшнер. Только на полминуты он возник перед нашим внутренним взором, а уже какое неприятное, глупое впечатление произвел он на всех нас своим появлением. Хотя если отбросить кое-какие детали и копнуть глубже, то в его поступках, возможно, сокрыт смысл, непостижимый умом нашим. Ведь этот с виду пошленький человечико, в общем-то, — глыба. Если бы тогда он не прокололся на горшке с геранью, то его до сих пор вся Европа в жопу бы целовала. Но он, как вы знаете, прокололся. Хотя прокол этот особых последствий не имел. Плейшнер вывернулся и сумел сохранить свою карьеру.

"Здесь что-то не так", — подумал шпион, зайдя за угол дома, и незаметно огляделся. Он всегда незаметно оглядывался, когда к нему в голову приходила какая-нибудь подозрительная мысль. "Почему корова одна, без хозяина, стоит посреди площади?" Ха-ха-ха. Откуда же ему догадаться, что эту корову я, автор, специально поместил там просто так, по своему авторскому желанию, чтобы показать плейшнеровскую сущность? Гнусность его характера. Зачем, спрашивается, так вести себя перед непонимным животным?

Сняв шляпу, он вытер плешь платком и снова непроизвольно пукнул, да так, что сам испугался произведенного звука. Вздрыгнул. И снова передернул плечами. Ворона, сидевшая на голове памятника с отбитыми руками, каркнула, строго глянув на Плейшнера, стеклянным глазом. "Чтоб ты сдохла!" — подумал шпион, стоявший внизу, и незаметно что-то записал в свою записную книжку. Я как автор скажу вам, что он туда записал: сначала он поставил два крестика, а потом четким шпионским почерком вывел: "Штирлиц — поц!".

А теперь вот какой пассаж; когда он, Юзик, еще учился в школе, то из подлости души своей частенько прокрадывался в туалет, куда ходили писать девочки, и, запершись в одной из кабинок, через перегородку, в которой им уже заранее была просверлена дырочка, — подглядывал за ними. А затем в эту дырочку просовывал прутик, и когда девочка делала свою нужду, он вдруг тыкал ее этим прутиком в голую попку и гавкал по-собачьи. Бедная девочка с визгом выскакивала из кабинки, продолжая свою нужду прямо уже на свои трусики, на пол туалета. Юзика неоднократно наказывали розгами, но он все равно продолжал свои проказы, связанные с туалетом для девочек. Да он постоянно подглядывал за кем-нибудь, выслеживал, ему, например, было интересно, куда направится эта женщина с чемоданом в руке, и он незаметно следовал за ней, шпионил, вынюхивал, втирался в доверие к совершенно незнакомым людям и собирал всяческую информацию об их родственниках. Но я никогда не доверял ему, этому плешивому онанисту.

В узких шпионских кругах Плейшнера так все и звали — "Плешивый Плейшнер", а некоторые после этих слов еще и добавляли: "Старый мудак!".

Когда он провалил дело в Цюрихе, толком не разобравшись, на кой хрен поставлен горшок с геранью на окне явочной квартиры, и полез туда, то Штирлиц, конечно, тут же перестроил всю шпионскую работу. Он срочно вызвал Плейшнера в Берлин на разборку, дав тому телеграмму открытым текстом: "Приезжай в Берлин, поц!". И Плейшнер приехал, поджав хвост, как побитая собака.

Плейшнер часто играл Гитлеру на волосянке. И это было просто потрясающе. Поверьте мне. Моему знанию предмета, о котором я сообщаю вам, дорогие мои читатели. На волосянке Плейшнер играл просто бесподобно. И хотя мне как автору, не любящему своего героя, хотелось бы сказать, что у него не было музыкального слуха и тому подобное, но пойти против истины я просто не имею права. Поэтому Плейшнера, этого волосящика, мы, конечно же, в обиду не дадим. И пусть это звучит патетиче-

ски, но зато в такт с ходом нашего повествования. То есть бодро и оптимистически. Поэтому мы сделаем так, что когда Плейшнер приедет в Берлин после своего провала, то вместо прочуханки от Штирлица он будет вызван в рейхсканцелярию для вручения ему ценного подарка из рук Гитлера лично. Вручая шпиону будильник, Гитлер сказал следующее: "Я всегда знал, что вы, Плейшнер, еще покажете себя! И вы себя показали!".

Да, это будет хороший роман. Я чувствую своей печенкой, что образ нашего героя стал уже вырисовываться все ясней и напористее. Мы должны показать миру — кто такой Плейшнер во всем его величии! Мы не позволим дрючить его на каждом шагу всем кому не лень. И сам Ю. С. нам здесь не указ с его фантазиями, которые только запутали все дело. "Дашь Плейшнера!" — кричу я сам себе и снова хочу кушать.

Но с горечью я должен сказать, что никто не достоин справедливого сопереживания в этом тексте. Разве что я сам — автор — бедный, старый, никчемный человечешко, все еще ждущий большой светлой любви, душевного тепла, денег, вкусной еды, каких-то развлечений — но никому я уже не нужен. Никто уже не хочет развлечь меня. Уже ни одна красивая женщина не подойдет ко мне и не скажет ласково: "Поцелуйте меня в жопу, друг мой!". Все уже в прошлом. Все осталось там — в той жизни, где нас уже нет...

Уважаемый читатель. Кое-кто из вас может задать вполне законный вопрос: а почему этот автор вздумал описывать жизнь какого-то Плейшнера, этого никому не интересного шпиона, когда в мире творится столько событий, когда вся наша жизнь похожа порой черт знает на что? Когда одни жируют по модным кабакам, а другие роются в помойках? Так вот что скажу я вам. Все вы, читатели, — люди без восторга! Ведь надо же понимать нас, писателей. У нас так: что вдохновение принесло в голову, о том и пишем. А иначе нельзя. Иначе ничего не выйдет. Настоящее творчество — это вам не стакан коньяку, который можно выпить мелкими глотками, утереться рукавом походной шинели и послать всех в рейхсканцелярию...

...Исходя из всего вышеизложенного, я хочу сказать следующее: Плейшнер на грани провала. Еще одна оплошность — и его раскроют. Еще один неверный шаг — и все полетит к чертям собачьим.

Недавно он передал в центр следующее: "Тетя ест мух. Дядя дичает. Здесь одни недovesы. Музыкальная шкатулка дрючит гимн. Тетя".

А это означало: "Я на грани провала. Высылайте деньги для подкупа высоких чинов вермахта. Штирлицу я не доверяю. Я спокоен".

Да, он был спокоен. Он держал свои нервы в кулаке, как привык держать все то, о чем думал в настоящее время. Но это только так рассуждал о себе самом Плейшнер. На самом деле он, конечно же, нервничал. Ведь ничто человеческое ему, как и всем нам, не чуждо. Ведь если Плейшнера раздеть, то голым он будет выглядеть как побитая собака. Он будет жалок. Только одна часть его организма достойна уважения. Недаром Гитлер (у которого эта часть была очень незначительной), увидев как-то Плейшнера в бане, впал в экстаз. Тогда же он произнес свою известную речь, которая вошла в анналы истории и начиналась словами: "Мой друг Плейшнер никогда не подведет нас!".

Плейшнера, в общем-то, все любили, только бродячие собаки считали своим долгом облаять его. И это не шутка. Собаки нападали на него везде: в парке, на базаре, на улице, в театральных переулках. Только великолепный дог в рейхсканцелярии Гитлера никогда его не трогал. Дог уважал Плейшнера, и тот даже проел плешь Гитлеру насчет этого дога — мол, очень хорошая собака у вас, мой фюрер, очень справедливая и главное — не воняет. А Гитлер только ухмылялся в свои усы и ничего не отвечал Плейшнеру по этому поводу. И тут внимательный читатель может задать правомерный вопрос: "А что же, Гитлер не знал, что Плейшнер шпион и на кого он работает?". Конечно же — знал! Гитлер был не такой дурак, как это может показаться на первый взгляд. Ведь он же сам лично подсовывал Плейшнеру ложную информацию. Такую ложную, что Сталин удивлялся. "Не может этого быть!" — говаривал он Жукову, похлопывая того по плечу своей курительной трубкой. "Не пора ли нам расстрелять этого Плейшнера?" — неоднократно спрашивал он у Ворошилова. "Нет, — отвечал тот робко, — пусть работает, ведь мы же через него даем Гитлеру ложную информацию". Сталин улыбался в свои широкие усы, брал в рот трубочку, набитую душистым табаком, и, попукивая на ходу, шел в свой кабинет пить армянский коньяк, который ему присылали армяне.

Да, сейчас Советский Союз распался. Но придет время, и он снова слипнется. Все в истории устроено так, что оно то разлипается, то слипается вновь. Главное, чтобы была сверхзадача, как любил говорить Станиславский, откушивая с серебра замардованную дурняку. Сверхзадача нашего романа такова — чтобы все и всем было хорошо, а Плейшнер действовал.

"Надо действовать", — не раз говорил так сам себе Плейшнер и, ковыряя спичкой в ухе, напряженно смотрел в окно, вынашивая план слежки. Ему предстояла долгая ночь на ногах. Под снежным дождем, под ветром.

Он следил за одним человеком, у которого был доступ к секретным документам. Эти секретные документы и были целью нашей ставки. Ведь нужно было войти в доверие, как-то изловчиться и выкрасть документы. Ох и опасная же это работа.

При такой работе могут запросто убить или покалечить, или же напугать так, что всю жизнь будешь заикаться, и никакой логопед не сделает тебе речь такой же, как она была до испуга. Да, Плейшнер слегка заикался, но это он делал не с испугу, а маскируя этим свое прошлое. Свое омерзительное детство и юность, когда он простым засранцем торговал на улице порнографическими открытками и надувными презервативами.

"Плейшнер, Плейшнер идиот! У тебя болит живот", — дразнили его окрестные мальчишки и девчонки. А он им показывал дулю с маком и никогда не позволял себе ничего подозрительного.

Однажды Плейшнер рассказал Гитлеру о том, как его дразнили в детстве. И Гитлер долго смеялся. Потому что его тоже так же дразнили. "Гитлер, Гитлер идиот! У тебя болит живот". У Гитлера был своеобразный юмор. Генералы часто требовали у него повышения зарплаты, ценных подарков на Новый год и на День смеха. А он, усмехаясь в свои узкие усы, подзывал одного из них к себе поближе, как бы желая что-то сказать по секрету, и, приблизившись к генеральскому уху, — плевал в него жидкой слюною. Такие же плевки в ухо доставались неоднократно и Плейшнеру, но он на них не обижался. Просто улыбался себе и, махнув рукой, посылал кого-нибудь из присутствующих в жопу. Гитлер на него не обижался и доверительно потом говорил, что казна пуста, и золота тоже — кот наплакал.

И тогда Плейшнер слал в центр, в Ставку Верховного Главнокомандующего: "Селедка съедена вместе с костями. Гвоздей нет и занять не у кого".

Ставка радовалась. Хрущев плясал на банкетах гопачка. Каганович — фрейлехс. Берия — грузинскую плясовую, а Андрей Андреевич Андреев играл им ладошками на своем голом животе, и все радовались. Даже армянин Жданов читал наизусть стихи Ахматовой и плакал.

Как-то Плейшнер шел по Берлину, неся в руках баночку из-под майонеза, и думал: "Зачем все это? Зачем вся эта свистопляска? Зачем мы живем на земле? Зачем думаем? Зачем размножаемся? Зачем любим и ненавидим друг друга? Зачем воюем? Почему мы не можем мирно жить на земле? Любить девочек. Пахать и сеять. Плясать. Играть на музыкальных инструментах. Сеять и жать друг друга где-то под звездами по закоулкам. Целовать друг друга везде. В транспорте. На концертах. Почему на кон-

церах обязательно надо думать о том, что в животе урчит и может случиться непоправимое?"

Думая так и рассуждая, он зашел к Штирлицу. Тот как раз пек картошку в мундирах ипил водку...

Одну минутку, уважаемый читатель, — мне звонят в дверь. Это, наверное, почтальон. Да, так и есть. Он принес письмо от какого-то задрипанного читателя. Нет чтобы вложить в конверт пару рублей — так этого никто не догадается. Все пишат. Все критикуют. Вот и этот, по фамилии Зайчик, — тоже пишит. Привожу дословно его стилистику и грамматику.

"Вы суки пишете про шпионов, а не про нашу жизнь. Наша жизнь хуже шпионской. Одни козлы сидят на местах и руководят нами по силе своей возможности. Напишите что-нибудь философское. Падла".

Да, дорогой мой читатель, ты и впрямь "жизнь наша". Не видишь в моей прозе ничего философского. Дожили! Да ведь мой текст — это же одна чистая философия и ничего больше!

Ведь я же задаю философские вопросы устами моего героя. Например: что есть сама жизнь? Откуда мы вышли и куда идем? Что будет после смерти? Есть ли смысл в жизни? Где достать денег?

Разве это не вечные философские вопросы? И я их вскрываю путем познания души самого Плейшнера. Ведь мы, писатели, — тараканы человеческих душ. Ковыряемся в душах, как у себя в кармане. Наше писательское дело — это показать героя во всей его плоскости, со всеми его прибабасами и прочими закруглениями. А Плейшнер — это как раз та фигура, над которой можно производить исследования во всех направлениях сразу. Познавая Плейшнера, — мы познаем себя. Познав себя, — мы познаем мир. Познав мир, — мы будем всегда знать, где лежит счастье, к кому зайти в гости, чтоб удалось что-то перехватить и чтоб при этом не дали по шее. Куда лучше всего, в какой банк поместить свои сбережения, чтобы потом не оказаться у разбитого корыта. И наконец — где достать денег.

А вы говорите, что все мое творчество это бред сивой кобылы, что это маразм чистой воды. Еще Эразм Роттердамский говорил: "Читайте, задумывайтесь, пробуйте — и вам подвалит либо то, либо другое". Мое творчество — это только на первый взгляд хреновень собачья. Но тот, кто есть с умом своим, — тому достаточно. А тот, кто хочет прозы жизни, пусть читает газеты, смотрит телевизор, рассуждает на кухне о политике и тычет правительству дули сквозь бетонные стены.

"Привет, партайгеноссе Плейшнер!" — как-то крикнул я, завидев того стоящим через улицу у пивного ларька в образе бомжа, пьющего пиво. Он

покрутил пальцем у своего виска, давая тем самым понять мне, что я поц. Я тут же догадался, что он работает, кого-то уже выслеживает, поц, и просит ему не мешать.

"Ты что, следишь за кем-то?" — закричал ему я, как бы не понимая его жеста.

Плейшнер еще яростнее завертел пальцем у своего виска и, то открывая в безмолвии рот, то закрывая его, стал корчить мне яростные рожи.

"Вот — поц!" — подумал я и решил подойти к Плейшнеру поближе.

"Поц" на него могу сказать только я. Мне Плейшнер позволяет. Другому бы он тут же предъявил все свои документы и потребовал бы объяснений. А мы с ним запанибрата. Иногда он мне говорит "поц", иногда я ему. Я на него не обижаюсь, потому что он действительно поц, но его работа, его служба делает его значительным человеком.

А знаешь ли ты, читатель, что у нас власть повязана с криминальным миром, что у нас все хуже, чем где-нибудь в Колумбии или в Сальвадоре? Сколько трагедий, сколько отмывается денег в пивных ларьках нашего отечества! Сколько голых девок танцует по ночным клубам, продавая свое голое тело за рюмку коньяка, за фунт стерлингов! И даже за доллары — чтоб их черт побрал. И всю Америку тоже. Это они, эти империалисты, разлипли наш СССР, и он теперь никак не может спаяться вновь на основах дружбы и взаимопонимания.

Но ничего! В Белоруссии сидит Лукашенко и он оттуда посылает флюиды во все мировое пространство, чтобы мы все склеились опять в мощный кулак против мировой буржуазии. Это он первый выдвинул лозунг: "Руки прочь от Плейшнера!".

За Лукашенку сейчас вся Россия, Казахстан, Узбекистан и, конечно же, кое-кто из влиятельных лиц, хотя рассуждать об этом сейчас не стоит. Не то сейчас время, чтоб рассуждать об этом, да еще в письменной форме посреди нашего романа.

А где же Плейшнер?

Да вот же он, у пивного ларька стоит и кушает пивную пену и рыбки плавники, сухие как кость, и хвосты, и хребты рыбки. Значит, так надо. Значит, так предначертано судьбой и рыбьими потрохами. Я подошел к нему и стал незаметно за его спиной.

С одной стороны, не хочется никого обидеть, а с другой хочется. Почему, к примеру, нельзя взять и обидеть того же Плейшнера? Вы спросите, за что? А вот за что: почему он не повлиял в свое время (а ведь мог повлиять) на Иосифа Виссарионовича, чтобы тот не сажал людей в лагеря?

Ведь идея социализма в корне (без этих чертовых лагерей) вовсе не плоха. Каждому по надобности и от каждого по способности — гласит ее (этой идеи) постулат. Что же здесь плохого? Если бы, конечно, не лагеря. Лагеря обгадили всю идею. А ведь за эту идею, судя по нашим песням, фильмам и литературе, люди кровь проливали. Да еще какую! Молодую здоровую кровь без всяких там спидов и марихуан. Да, тогда гомосексуалистов столько не было. Так вот, Плейшнер мог ведь подойти к Сталину и сказать: "Друг, давай выпьем!". И Сталин бы все понял. Но никто ему этого не сказал. Потому что — да! — все боялись за свою шкуру, и Плейшнер, как видно, тоже боялся, хотя работал шпионом, был уважаемый человек, но поц. Да взял бы и рискнул своей шкурой, сука! Подошел бы и сказал: "Сталин, давай выпьем по-крупному!".

Может быть, тот и согласился б. Напились бы, а потом бы Плейшнер ему под пьяную голову взял бы все и выложил. Так, мол, и так. Кончай ваньку валять. Не сажай людей в лагеря. Дай им хлеба и зрелищ. Дай им работу, и они будут тебя в жопу целовать. Вот ты, к примеру, выставишь жопу из Кремля, а они все, проходя мимо (идя на работу), целовали бы каждый. И смеху было бы, и сколько радости детям и гомосексуалистам всяким! Эх, Плейшнер! Эх, Иосиф Виссарионович! Надо бы получше с народом. Народ — он у нас хороший.

Гад Плейшнер не раз уже подставлял мою рукопись под стаканы и кастрюли всякие. Это ты, Плейшнер, заходил, когда меня дома не было, и проделывал тут всякие гадости над рукописью моей? Учти, Плейшнер, — поймаю и сам все съем, а тебе лиру поэтическую на голову надену и убью потом из пистолета. Я не посмотрю на то, что ты лицо известное, но издеваться над рукописью я тебе не позволю. У меня и так есть кому издеваться. Так называемый мой внутренний редактор издевается над ней, от ума своего умного отталкиваясь. Это, мол, здесь не так, то не так. Все, что я про трусы свои написал, он хочет вычеркнуть уже. "Вы что это, совсем с ума сошли, где вы видели, чтобы автор романа описывал свое исподнее? Толстой описывал? Достоевский описывал?" А я вот беру и описываю. Я, может быть, из этих своих старых поношенных (но кропотливо стиранных ежедневно, вот этими вот руками) трусов сделаю знамя себе. Прибью их к древку и пойду по улице с этим знаменем в руках народ смешить. Пусть народ смеется. Народ в хорошем государстве должен быть смешливый, веселый. А вы посмотрите на наш народ. Идет по улице, будто ему обезьяна в карман нагадила, а он руку туда сунул. Все морды угрюмые, хамовитые морды все, злобные. И для такого народа я вынужден писать это свое произведение о Плейшнере!

Иногда меня берут сомнения. А хватит ли мне таланта написать этот роман, не поверхностно так, тят-ляп, а глубинно? Выявить все нутро Плейшнера. Ведь он пока что единственный у меня герой. Все остальные — это все так себе. Подтанцовка, как говорят сейчас в ухо.

Плейшнер, Плейшнер! — ты заставляешь меня думать. Но я не мыслитель. Я далеко не мыслящее существо, которое распускает свои мысли где надо и не надо. Иногда мне просто противно думать на темы морали или же старческого секса. "Мои мысли — мои скакуны", — поет один наш певец, подпрыгивая на сцене. То есть, блохи они — эти мысли, скачущие по телу. Нет, я здесь не намекаю на Плейшнера, у которого всегда водились блохи, и не какие-то там песенные виртуальные, а самые настоящие скакуны бешеные. Стальные крупнокалиберные блохи, которых даже ногтем невозможно было раздавить, сколько бы ты ни давил их. Подмышками они у него водились и в паху. Что он только ни делал, чтобы вывести их! Гитлер ему советовал опалить все к едрене-фени, чтоб блохи те погорели вместе с волосами. "Давай попробуем, Плейшнер!" — не раз предлагал он ему, вытаскивая клещами полыхающее поленце из камина, а тот тут же упирался и, глупо улыбаясь, нес какую-то ахинею про терпение человеческое, про большое человеческое сердце, а потом, отойдя в сторонку, — чухался как цуцик.

Вот и сейчас стоит Плейшнер у пивного ларька и чухается незаметно для окружающих, но я-то знаю, что он проделывает. Кстати, сейчас он очень похож на булгаковского Шарикова. Ну просто копия! До чего же может перевоплощаться этот глыба-шпион человеческий! Вот актер! Вот матерый человечище! Не человечище матерый, а целая "Апассионата" бетховенская. Стоит себе, сука ненасытная, и жрет пиво глотками закадычными. Да сколько же можно! Видно, неплохо зарабатывает, подлец, раз столько кружек уже влил в себя. Я уже четвертую насчитал. И куда только столько влазит в него? Живота же у этого попугая почти нет. А пива влазит много. Удивляет меня он — герой моего еще далеко не дописанного романа. Я ведь только начал писать, а уже, если честно сказать — душу воротит от всей этой хреновины. Но деваться некуда. Работа есть работа. "Верной дорогой идете, товарищи!" — говорил Владимир Ильич, когда ему нужно было что-то сказать с трибуны веское и убедительное.

Старые люди говорят, что когда нечего сказать, то лучше помолчать в сторонке, никого не трогая своими словами пустоголовыми.

...А теперь вот что: когда СССР дал трещину и затем разлетелся по своим географическим дырам, то нам с Плейшнером так и сказали: "Вы

отработанный материал, надо бы вас расстрелять по-человечески, ну да хрен с вами — живите, старые пердуны, только нигде не возникайте. Сидите тихо", — и вышвырнули без всякого пособия на все четыре стороны, поскольку мы как хохлы могли перейти на собственное пропитание без всякого ущерба для окружающих.

Никому мы не стали нужны. Плейшнер, правда, быстренько устроился в какую-то частную контору здесь же, на Украине, и неплохо зарабатывает по своей специальности, а я решил потихоньку пописывать, пока сил хватит, а дальше видно будет. Кое-что еще можно описать, как было, но с постоянной оглядкой. Многие материалы, конечно же, еще сильно засекречены, но этот Ю. С. кое-что все-таки раскрыл в этом своем дурашливом фильме. Правда, я здесь должен сказать, что актер этот, как его... кажись, Кадочников, сыграл меня неплохо. Я получил у него немного театральный такой, немного прямолинейный, но все же он выжал из себя все, что мог, он старался, и я ему, конечно же, искренне благодарен.

Черты моего характера он схватил и передал в общем-то верно. Лицо мое волевое он преподнес нам со всей убедительностью, только уши у меня более арийские все же. Да и был я тогда значительно моложе. Сейчас у меня лицо будто сделано из мошонки, а тогда было лицо холеное, усталое от шпионской работы, и опять же таки повторяюсь — сильно убедительное. Я тогда хорошо питался. Мы тогда с Плейшнером немцам такую ахинею несли насчет украинской щетины, так их убедили в ее ценном наличии, что они стали вагонами закупать ее здесь, на Украине, и отправлять в Германию состав за составом. Мол, так надо.

В 45-м, когда наши в Берлин вошли, то все удивились: стоят на станции вагоны со щетиной и ни хрена больше. Кто, какой такой поц настриг столько щетины? Генералы наши ума не могли приложить и потом, когда узнали, что это мы с Плейшнером (по нашему указанию, конечно, не своими же руками мы перестригли всех свиней на Украине) затеяли всю эту свистопляску свиную, то некоторые просто разрыдались от нестерпимого удивления. Было нам потом. Ох, и было...

Сталин чуть своими руками не расстрелял, но пожалел. Восемь лет мы с Плейшнером в Сибири кантовались. Что мы только там не пережили: и голод, и холод, но мы стойко все перенесли, и при Хрущеве нас выпустили. Хрущев хороший был человек. Только сильно целоваться любил. Сталин — тот никогда никого не целовал. А вот Хрущев, а за ним и Брежнев любили целоваться с мужиками взапас. И с неграми, и с монголами, и с китайцами, и с их шоферами. Руку, бывало, пожмут и уже губы тру-

бочкой изготавливают для поцелуя. В жопу бы целовать такими губами. А они при всем народе (по телевизору эти поцелуи тогда вся страна смаковала); может быть, отсюда и пошел этот идиотский гомосексуализм, который они своими поцелуями проявили как руководители.

Каждая собака за свою жизнь должна хорошо выгавкаться!

Да, нет у нас все-таки приличной прозы, такой, чтобы — открыл книгу на любой странице, прочел любой абзац наугад и чтоб тебя передернуло всего от авторского таланта, чтоб захотелось тут же прочесть всю эту книгу от корки до корки и получить при этом такое наслаждение, такое вскипание ума, такую метель в сознании своем, чтоб тебя еще раз передернуло всего — и только потом отпустило. Некому сейчас писать так. Для того чтобы так писать — нужен талант. Но у меня его, к сожалению, нету. Зато у меня есть талант к другому делу. В дальнейшем я, возможно, откроюсь — к какому. А возможно, и не откроюсь. Все зависит от того, как пойдет наше с вами повествование. Если я увижу, что навороченного текста будет маловато, тогда, пожалуй, откроюсь, с тем чтобы доворотить текста до нужного размера.

Современная проза — это блохи в шкуре дворовой собаки. Она выгрызает текст из своей шерсти. Ловит блох и ест их зубами, а они все не переводятся. Так и писательское дело нынче в нашей державе. Писатель пишет и думает, что он своим текстом уже покрыл весь внешний объем дворовой собаки, а на самом деле выходит, что мысли его и философские рассуждения не что иное как блохи в собачьей шерсти. Таки правильно делал ефрейтор Гитлер, когда вызывал к себе в рейхсканцелярию фашистских писателей и заставлял их всех целовать жопу Геббельса.

Да, я знаю, что и в моем тексте ничего хорошего нет. Так — бред один старого идиота. Беспардонного проходимца. Бедного и жалкого. Любящего вкусные конфеты и шоколадное мороженое. Красивое женское тело. Точеные женские ноги. Выразительные глаза и маленькие ушки. Рот с ровными белыми зубами. Хорошо, когда такой рот ест спелые фрукты или поет что-нибудь, только не пошлое, а что-то классическое или старинный романс томный, со спелыми фруктами и темно-красным вином при свечах.

Много в этом мире есть удивительного, но мы все летим куда-то и не замечаем воробышка за окном, который посмотрел на нас, или не видим розового облака в утреннем небе, которое специально для нас окрасилось в этот легкий поцелуй и улыбается с высоты для нашего внимания.

Никогда еще в своей жизни я не опускался так низко. Я всегда мог сдерживать свои порывы, свои желания. Воля, железная воля сделала из меня — простого украинского пастушка — Штирлица. Да, я прошел серьезную школу подготовки. Изучение немецкого языка, повадок немецких, потом долгое "знакомство" с оригинальным Штирлицем, которого мы взяли еще до войны, и в шкуру которого я потом влез и вылезти из нее уже так и не смог. Став Штирлицем, я не смог уже перевоплотиться в простого украинского пастушка, детство которого прошло под Полтавой, в белой украинской хате, крытой хрен знает чем, только не соломой.

Помню, все в том же Берлине я дал Плейшнеру задание: нелегально выехать в Цюрих и выйти на улицу N. Эту улицу и номер дома пока еще раскрывать нельзя. Квартиру можно. Этаж нельзя. И в левом окне квартиры № 17 постараться незаметно увидеть цветок в горшке. Если цветок стоит, значит, смело можно входить в квартиру и делать свое шпионское дело. Если же цветка нет — опять же таки, незаметно покинуть улицу и дать мне телеграмму следующего содержания: "Тетя ушла к дяде" — и все! Я буду знать, что случилось... Плейшнер увидел цветок в горшке в правом окне квартиры, но все же решил войти. Потом ему пришлось выпрыгивать из окна и как затравленная собака бегать по Цюриху, запутывая свои следы.

Да, это были тяжелые времена. Мы работали на износ. Я тогда по долгу своей службы должен был (для того чтобы доказать всем, что я полноценный мужчина) посещать раз в неделю (обязательно!) тайные немецкие бордели для высших чинов вермахта. В распоряжении борделя находилось двадцать немецких женщин и двадцать другой национальности, через которых я, сделав свое дело, черпал часть нужной мне информации. Ведь мужчины становятся болтливы во время самого акта и особенно после него. Может быть, и я здесь что-то выбалтывал лишнее. Может быть, это я сказал кому-то из них, что Плейшнер отбыл в Цюрих с заданием навести мост насчет кое-каких дел с кое-кем. Может быть, и я... Я пылкий был в те годы. Да, посещая бордель — я выкладывался весь. Я изнурял себя пыткой любви к этим формам, к этим запахам, к этим ароматам чувственности. Меня любили женщины борделя за ненавязчивый тон, за умение разжечь настоящую страсть в профессионалках. Хотя, признаться, может быть, все это было у них профессиональное, но не в этом дело... Дело в том, что у меня есть что вспомнить в этой жизни, есть о чем писать. Может быть, как-нибудь на досуге, когда я разделаюсь с романом о Плейшнере, я напишу роман про этот бордель. Надо только придумать хорошее название к этому роману...

Итак, Плейшнер шел по следу... Мужчина в кожаной куртке и с портфелем завернул за угол, вошел в подъезд и, видно, почуввав слежку, затаился там. Почуввав, что мужчина затаился, Плейшнер сначала затаился тоже, потом бесшумно на своих склеротических ногах, гася скрип в коленях, незаметно проник в парадное. Завязалась схватка. Плейшнер вцепился в горло преследуемого. Тот, хрипя, выдавливал из себя: "Старик, что тебе надо?! Какого хера ты прицепился ко мне?! Отпусти горло... Сука...".

Когда преследуемый стал хрипеть более сильно — Плейшнер отпустил горло и тут же пожалел об этом. Тут же он получил удар кулаком в свое тело и отскочил в сторону. Мужчина ринулся бежать вверх по лестнице. Отдышавшись, Плейшнер кинулся за ним. Мужчина со всего разбега выбил дверь, ведущую на чердак. Плейшнер за ним. Тот выскочил на крышу и побегал по ней, громыхая прогнившим железом, и тут вдруг провалился, снова попав на чердак. На чердаке в пыли и паутине среди старой мебели и прочего хлама вновь завязалась схватка...

"Деритесь, суки, деритесь", — подумал я и отложил свое писательское перо в сторону. Пока они будут драться, мы с тобой, дорогой читатель, тоже должны передохнуть немного. Выйти в парк, подышать свежим воздухом, покормить лебедей, плавающих в пруду.

...Плюньте тому в несправедливое лицо его, кто скажет вам, что там, в Берлине, когда наша разведка (это хорошо отображено в фильме) устроила мне негласную встречу с женой в немецкой пивнущке, что там в самом дальнем конце ее (это хорошо видно на дальнем плане в тех кадрах) не сидел Плейшнер. Он там сидел, сука, хотя его никто не приглашал на эту встречу. Еще тогда в Берлине он положил глаз на мою супругу! С той встречи у них все и началось. Где-то там, в Берлине, по-видимому, и состоялось их ночное свидание. Плейшнер все сделал, чтобы у меня выросли рога, как у лося. После сибирских лагерей они сошлись окончательно и бесповоротно. Они и сейчас живут вместе, хотя не расписаны. Она получает мою жалкую пенсию по старости и все то, что должно принадлежать мне, принадлежит теперь ей и Плейшнеру.

...Что! Что! Что! Что! Что в мире творится. Америка напала на Ирак. Снова гремит война. Снова говорят пушки. Снова осколки снарядов бомб и ракет раздирают солдатские животы и выбивают нижние челюсти. Человек, которому выбивает нижнюю челюсть, — выглядит ужасно. Он остается живой, его перевязывают, лечат он поправляется, затем его вы-

писывают из госпиталя, и он возвращается домой (если, конечно же, не пускает себе пулю в лоб). Не дай вам Бог увидеть лицо этого человека. Это лицо войны. Это ее самое настоящее лицо. И это говорит вам полусумасшедший старик, прошедший все и медные трубы. Тогда, в сорок пятом, мы думали, что всё! — с войной покончено навсегда. Человечество наполнилось ее гноя и грязи по самую завязку, но... видно, еще не по самую. Дня не было с тех пор, чтобы на Земле где-то не воевали. И еще более омерзительными войнами, чем тогда мы с Германией. Мне противно перечислять все эти послевоенные войны... все эти людоедские побоища, бессмысленные, бесчеловечные...

Я когда выпью немного, то... порой плачу. Вы не верите? Плачущий Штирлиц — это вам не нравится? А вот Плейшнер говорит, слезы очищают печень...

— Штирлиц, как вы себя чувствуете?

— Очень хорошо, Надежда Васильевна.

— Жалобы есть?

— Нет. Никак нет.

— Как вы переносите новое лекарство, которое я вам назначила?

— Очень хорошо, Надежда Васильевна.

— А что это все пишете в этой тетрадке?

— Мне неудобно вам говорить об этом...

— Ну почему же неудобно? Я должна знать, что вы пишете... Неужели снова про любовь и гвозди?

— Нет, Надежда Васильевна, я пишу роман о Плейшнере.

— О ком, о ком?

— О Плейшнере! Я же вам сказал. О Плейшнере!

— Хорошо, хорошо! Только не надо возбуждаться. Пишите свой роман, только помните, что стерженек вы никому не должны давать ни под каким предлогом.

— Нет, нет! Что вы, Надежда Васильевна! Стерженек я никому не дам. Стерженек это мой главный инструмент. Без него я никто. Без стерженька я нигде не устроюсь. Кому я нужен без него? Я очень берегу свой стерженек. Я пишу очень маленькими буквочками. Потому что если писать большими — то паста скоро израсходуется, поэтому я пишу очень маленькими буквочками, вот, можете посмотреть...

— Но здесь же только одни линии.

— Нет, нет! Надежда Васильевна, это не линии. Это просто очень маленькие буквочки. Это они так сливаются и кажется поэтому, что это линии...

— Как же вы это читаете?

— А зачем мне это читать? Читать будут читатели — мое дело писать. Я писатель. Я скоро устроюсь на хорошую работу. Я буду получать хорошие деньги. Мои книги будут читать молодежь. Ведь я пишу для молодежи...

— Ну хорошо, хорошо. Пишите. Пишите, Штирлиц, только будьте благодарными. Да, кстати, у меня к вам один вопрос. Но это сугубо между нами...

— Я весь внимание, Надежда Васильевна.

— Штирлиц, вы ничего во мне не замечаете?.. Я не кажусь вам сумасшедшей?

— Надежда Васильевна, как можно?! Что вы, что вы! Вы наш лечащий врач, разве врачи бывают сумасшедшими?..

— Нет, вы не подумайте ничего такого, я просто так спросила. Просто так, вы меня понимаете? Вот сейчас я с вами разговариваю, и мне кажется, что я... что-то не то делаю. Если вы у меня что-то такое заметите, то я вас очень прошу... сказать мне об этом. Мне не с кем поговорить об этом. Я могу только с вами, Штирлиц... ведь вы мне дороги... вы моя юность... "Семнадцать мгновений весны" я смотрела несколько раз. Как мы тогда ждали каждую новую серию! Как мы любили вас! Как мне тогда хотелось, чтобы вы... чтобы вы... Я так хотела, чтобы вы...

— Что с вами, Надежда Васильевна, голубушка?.. Не надо. Ну, не надо плакать. Вас могут увидеть... Вам нельзя, нельзя так...

В своем предыдущем романе "Любовь и гвозди", который Надежда Васильевна, как она мне сказала, предала огню, — я описал свою любовь к тринадцатилетней девочке, дочери сторожа нашего санатория. Я видел ее всего несколько раз и влюбился до беспамятства. Я видел ее только издали, но какое это было счастье видеть ее! Я влюбился, я представлял себя воздухом, которым она дышит, я был ее платицем, ее тифельками... ее школьным ранцем, ее тетрадками. Мне было так хорошо, как никогда в жизни. И так мучительно. Зачем порой кто-то посылает нам, кто-то навязывает нам эти удивительные чувства к другому человеку?..

— Штирлиц! Почему вы смотрите в окно?

— Я просто так, Надежда Васильевна.

— Просто так ничего не бывает. О чем вы думаете?

— О девочке...

— О девочке — это хорошо. А почему вы не думаете обо мне? О вашем друге, о вашем лечащем враче?

— Я думаю о вас тоже.

- Ну и что же вы обо мне думаете?
- Я думаю только все хорошее.
- Ну и в чем же это хорошее заключается?
- Я думаю, что вы несчастны...
- Да? Это интересно, а вы не хотели бы что-нибудь спеть для меня? Какой-нибудь романс, например, "Очи мрачные"?

В рейхсканцелярию вошли двое в черной эсэсовской форме с черепами на кокардах. Они вынули из карманов свои удостоверения личности и, раскрыв их, сунули прямо под самый нос стоявшему часовому. Это были Штирлиц и его тень. Тень проделывала все то, что проделывал ее хозяин, только в горизонтальном положении. Да, это был я со своей тенью. Сегодня у меня был трудный день, и впереди меня ожидала не менее трудная работа. Пройдя еще несколько блок-постов, я вошел в кабинет Гитлера.

Он стоял ко мне спиной, глядя в окно. Не оборачиваясь, спросил:

- Что будем делать с Плейшнером?
- Хорошо бы его отправить еще раз в Цюрих, мой фюрер, — сказал я.
- Займитесь этим делом. Пусть там ему накостыляют по самую завязку. Я хочу, чтоб ему отбили почки.

Я щелкнул каблуками.

— Не щелкайте, — скривился Гитлер, — у меня от этих щелчков голова болит... Пойдемте, я покажу вам одну вещь.

Адольф поманил меня в небольшую комнату, примыкавшую к кабинету. Большой серый дог последовал за нами...

— Когда-нибудь о нас будут писать книги, — сказал Гитлер, садясь в глубокое кожаное кресло. В такое же кресло после указания бледной руки фюрера сел и я. — Может быть, даже вы, Штирлиц, напишете такую книгу... А теперь посмотрите сюда, — и он протянул мне старую фотокарточку...

— Это я... маленький, — сказал как-то нежно Гитлер. — Здесь мне всего два годика...

Я взял фотокарточку, всмотрелся в нее и прослезился...

Я не знаю, почему в этой... в этом санатории все зовут меня Штирлиц. Кто-то первый дал мне такую кличку. Здесь все имеют какие-то клички. Вот тот странный старик с большой волосатой бородавкой на носу — Плейшнер. Так его называли еще до моего прибытия сюда. Я пишу о нем роман. Мне он очень интересен. Не каждый из нас отважится на то чтобы

отхватить ножницами себе мошонку, а потом обычной иглой и нитками зашить себе рану.

Как-то я спросил его: "Плейшнер, зачем вы это сделали?".

— Я хотел покормить собаку. У меня ничего не было. У меня не было даже хлеба. А та собака стояла у меня под окном, смотрела мне в глаза. Тогда я сделал это и бросил ей свою мошонку через форточку. Она мне все равно уже была ни к чему...

— А потом сами себе зашили?

— А потом зашил. Я ведь был когда-то хирургом. Во время войны мне приходилось проделывать подобные операции. Ведь осколок, когда летит, он не выбирает сам себе конечной цели. Он летит туда, куда мы сами приглашаем его в наше тело... Это трудно объяснить, но поверьте моему опыту. Кто-то просит пулю, чтобы она прошла мимо виска, а кто-то подставляет ей свой лоб... Это трудно объяснить... В этом мире все загадочно. Это мир загадок. По-видимому, я несу какую-то чушь, но это так. Мне кажется, что это так... Этот мир, как стекло в очках. С одной стороны он искривлен наружу, а с другой вовнутрь... Это знают многие, но мы почему-то боимся тех знаний, которые противоречат так называемой реальности...

— Плейшнер! Что вы здесь расселись?! Вам пора на укол! И вам, Штирлиц! Вам тоже пора на укол. Быстро марш в процедурную! Быстро, я сказал, еб вашу мать, человеческого языка не понимают, суки долбаные! Я кому сказала!!!

В процедурной хорошо. Медсестра Ниночка, которую я люблю уже давно, делает укол очень нежно. Я бы всю жизнь делал у нее уколы... если бы мне не надо было писать этот идиотский роман...

— В вашем романе нет сюжета.

— Может быть.

— В нем одна сплошная чушь.

— Может быть.

— Вы графоман?

— Наверное...

— Не наверное, а точно. Вы испытываете некоторое облегчение, когда пишете?

— Нет. Скорее, даже наоборот. Мне тяжело писать...

— Тогда зачем же вы пишете?

— Я не знаю. Я должен писать...

— Но вы же пишете бред какой-то!..

— Возможно...

— Он ничего не говорит, ваш бред, ни к чему не призывает. Он не заставляет сопереживать вашему герою. Ведь без этого сопереживания нет литературы.

— Но может быть, я хочу, чтобы сопереживание вызывал не мой герой, а те розовые облака на вечернем небе, которые так тихо говорят с моим сердцем. Отчего, когда я смотрю на них — мне хочется плакать? И сердце плачет мое...

— Так не бывает. Автор должен всегда быть отстраненным нейтральным наблюдателем. Вот вам мой совет. Сделайте план романа. Выберите сюжет и заставьте читателя сопереживать главному герою. Вы поняли меня?

— Понял...

План романа:

1. Детство Плейшнера. (Но я ведь описал его уже в своем романе "Любовь и гвозди".)

2. Юность Плейшнера. (Его школьные годы также отражены в новелле: "Дырочка".)

3. Дружба с Гитлером. (Эта их дружба также имела место быть описанной в эскизе "Шептун".)

4. Дружба с лесоповальной пилой "Дружба". (Каламбур, но куда денешься? Некоторая доля пошлости все же должна украшать хорошую добротную прозу. Как кремовая роза украшает своей пошлостью праздничный торт своим кремовым присутствием.)

5. Зрелые годы Плейшнера.

6. Плейшнер и экономика развитых стран социализма.

7. Плейшнер и моя жена. (Этот тяжелый для меня вопрос, я не хотел бы освещать его вовсе. Но, по-видимому, придется осветить его со стороны сторонних наблюдателей, таких как Гитлер и Сталин.)

8. Я в жизни Плейшнера.

9. Плейшнер как кривое зеркало нашей литературы.

10. Плешь Плейшнера.

Ну вот, план есть. Сюжет... осталось сложить сюжет. Он должен быть не очень сложный. Главный акцент мы сделаем на психологию личности.

Ах! Друзья мои, какие могут быть сюжеты! Зачем что-то планировать? Пошел слух, что содержать нас в этом санатории не на что. Государству это крайне невыгодно. Бюджет трещит, но во всем этом есть много хорошего.

Господи, как повезло нам! Мы с Плейшнером сели в автобус первыми и сели у окна. Он на одно сиденье впереди меня, а я сзади. Какой-то старик, который при входе в автобус тоже хотел сесть первым и оттирал ме-

ня от двери, оказался вдруг сам оттертым в сторону. Получилось так, что толпа совсем отбросила его. Он вошел в салон, когда все места уже были заняты. Его погнали в другой автобус, и я не знаю, нашлось ли там для него место. Он плакал, когда покидал наш автобус, потому что он хотел сесть рядом с Плейшнером...

Я бы тоже, наверное, плакал, если б со мной произошло подобное. Нас всех пересчитали и предупредили, чтоб все вели себя хорошо и сидели тихо. Но мы с Плейшнером радовались. Мы подсакивали на своих сиденьях и смотрели в окно. Наконец водитель завел мотор, и мы поехали. Мы почему-то выехали за город, и все стали спрашивать друг у друга — куда нас везут? Но Надежда Васильевна нас успокоила. Она сказала, что все мы давно не видели моря, и нам решили его показать. Степь и море. Чистую степь и широкое море. Мы ехали очень долго. Через какие-то перелески и овраги. Через какие-то опустевшие поля и села. Уже не хотелось смотреть в окно. Хотелось спать. И многие уснули. Несколько раз автобус останавливался, и всем нам было разрешено оправиться. Потом в нашем автобусе поломались двери. Они перестали закрываться, потому что автобус был очень старый, а двери ржавые и кривые. Потом шофера меняли старые колеса на новые. Мы также выходили на прогулку, а Надежда Васильевна все беспокоилась, чтоб никто из нас не потерялся. Потом мы снова поехали, а море все не показывалось. "Еще наедитесь вы этого моря по самую завязку", — сказал нам военрук, и все мы успокоились. Уже под вечер нам всем раздали по большому куску хлеба, а в пластмассовые стаканчики налили вкусной шипящей водички. Мы хотя и устали от этой долгой поездки, но все равно радовались, что скоро увидим море. И вот когда солнце уже склонилось к горизонту, автобусы остановились, и мы наконец-то оказались в чистой степи. Там были только покосившиеся столбы, уходящие вдаль вдоль поросшей бурьяном дороги, и везде была степь, степь, степь, Такая широкая, такая просторная и очень красивая. Нам сказали, что слева должно быть море. И действительно, с той стороны слышался его шум, но мы его не видели. "Все бегите смотреть море! — сказал военрук. — А кто не побегит, тот будет трус и предатель родины!" О, как мы все дружно побежали. Мы бежали в сторону моря, а оно бежало к нам своим веселым шумом, своим свежим вечерним воздухом. И вот уже все увидели его темно-синюю полоску, которая становилась все шире и шире. А когда добежали, то все остановились на краю обрыва... Обрыв тянулся бесконечно в одну и другую сторону. А море оказалось далеко внизу, до него было, наверное, метров двадцать, а может быть, и больше,

и спуститься к воде не было никакой возможности. Там, внизу, тянулась длинная полоска песка, и на него тихо накатывались ленивые волны. Ах, какой удивительный запах был здесь! Многие из нас почему-то заплакали. Легкий ветерок развеивал наши одежды. Какая это была удивительная картина...

Потом кто-то недалеко в стороне нашел тропку, по которой можно было спуститься вниз. Обрыв там как-то осел и получился откос более пологий. Несколько человек стали по нему спускаться к воде...

Мы с Плейшнером вначале тоже хотели было спуститься, но потом какая-то тревога появилась у нас в груди. Какая-то печальная смутная тревога... Автобусы вдруг загудели, и мы с Плейшнером побежали к ним. С нами побежали еще несколько человек, а остальные остались там, у обрыва, и там, внизу, на песчаной полоске. Мы с Плейшнером и еще человек пять едва успели вскочить в наш автобус через поломанные и уже не закрывающиеся двери. Он неуклюже разворачивался на старой заросшей бурьяном дороге, и когда развернулся, то поехали в ту сторону, откуда привезли нас. В салоне было очень свободно, и Надежда Васильевна осталась там, на берегу. Мы уезжали и махали руками тем, кто остался, и они махали нам с берега. Потом военрук, который вел наш автобус, сказал, что Надежда Васильевна уже давно двинулась мозгами и место ей там — на берегу моря. "Пусть, сука, инструкцию выполняет, а не антимионию разводит!" — пояснил он нам свои мысли.

Когда мы ехали, я почему-то подумал, что у Гитлера тоже было детство. Он, наверное, тоже любил играть в разные игры. Его, наверное, обижали. Может быть, даже били. Мне стало жаль маленького Гитлера. Я вспомнил ту его фотографию, которую он мне показал давно там, в рейхсканцелярии... Он на ней был такой беззащитный, такой трогательный. Худое бледное личико, тонкие бледные ручки.

Гитлер любил детей. Он гладил их по головкам и дарил конфеты. И его дети тоже любили. Нет, Сталина так дети не любили. Он все-таки был более сложным человеком, более жестким, совсем мало улыбался и только попукивал часто, покуривая свою трубку.

Дети к нему не тянулись. Он обижал свою дочь Светлану. Забирал у нее игрушки, а когда она плакала — сердился.

Утром нас выгрузили на Тираспольской площади. По Преображенской улице в сторону Дерибасовской шли веселые и шумные люди. Особенно шумели, толкались и ругались матом милovidные подростки, мальчишки и девочки. Мне сначала все это сильно не понравилось, но потом я

понял, что этот мат лишен для них своего нехорошего смысла. Он был просто частью их речи, их восторга, их молодости. На многих были какие-то украшения из цветного картона и пластмассы. Всякие ослиные уши, клоунские колпачки на носу, и у многих волосы были выкрашены разноцветной краской. К нам подошел какой-то верзила и грубо потребовал купить у него колпачки для носа. Хорошо, что у Пейшнера нашлось несколько измятых бумажек, и мы приобрели эти дурацкие колпачки на резинке. Верзила тут же потребовал, чтобы мы нацепили их на нос и шли, как все люди: "А не как хорьки поганые!".

Мы нацепили эти колпачки и сразу стали как все. И наша санаторская одежда, полосатые пижамы и штаны уже не вызывали ни у кого никакого особого внимания. Мы шли со всеми на Дерибасовскую и, наконец, пришли.

Это счастье! Столько веселых разряженных людей. Столько шуток смеха, столько радости. Толпа двигалась по Дерибасовской и, дойдя до Преображенской, развернулась и пошла назад. Мы с Плейшнером влились в эту толпу, и она нас понесла, как река... как река, которая понесла на себе две старые лодки, закрутила их, отделила друг от друга, и вот я уже совсем потерял Плейшнера, а там, ниже, где Дерибасовскую пересекают другие перпендикулярные ей улицы, с этих улиц в нашу реку влились новые потоки. Меня сильно сжали с боков, вокруг трещали трещотки, пищали какие-то пищалки, и все люди сильно радовались... Под ногами у меня оказалась бутылка, я наступил на нее, но не упал, меня несла толпа. Кто-то сзади стал бить меня по голове какой-то бумажной трубкой. Нет, больно мне не было, но стало как-то просто противно. Я не люблю глупых шуток. Труба, ударяя меня по голове, отскакивала, издавая глухой и довольно громкий звук. Я хотел развернуться и посмотреть, кто же это проделывает над моей головой такую глупость, но не смог. Вдруг толпа понесла меня куда-то, и мы оказались у того места, где бесплатно раздавали мороженое. Пищали придавленные толпой дети... Мороженое пачками бросали в воздух, и люди ловили его. Одна пачка попала прямо ко мне. Я схватил его одной рукой и зубами стал разворачивать обертку, но тут кто-то выхватил у меня это мороженое, и я от обиды чуть было не заплакал. Рядом очутился Плейшнер. Я обрадовался, а Плейшнер застонал. "Надо выбираться отсюда", — прошептал он. "Но как?" — уже хрипел я. "Надо что-то делать, надо стараться выбраться из середины к краю, к домам".

И мы стали продираться к краю

"Группенфюрер, дайте мне вашу руку", — услышал я голос справа. По-

вернув туда голову, я увидел генерала Вольфа, вцепившегося в ствол дерева. Я протянул ему руку, но вместо того чтобы остаться с ним, оторвал его от дерева, и мы поплыли втроем. Потом мы видели в толпе еще много наших. Я видел Мюллера и Бормана. Они сказали мне, что Гитлер мелькал где-то впереди, но где он сейчас, никто не знает.

Иосифа Виссарионовича прижали к какому-то ларьку. Я увидел его усы и фуражку, а дальше уже ничего не увидел. В толпе промелькнули Берия и Троицкий. Гитлера мы увидели потом, когда толпа, докатив до Думской площади, немного ослабла в своем напоре...

Я чувствовал, что мы победили. Мы прошли через все и победили. Победа — вот ради чего стоило жить. Вот она, наша победа. И День смеха — это вершина нашей победы. "Слава победителям!" — крикнул я. "Слава, слава, слава!" — понеслось по округе...

"Дед, на, потяни косячок! Что ты стоишь, как неродной?!" — обратился вдруг ко мне какой-то взлохмаченный паренек, протягивая недокуренную сигарету. Я взял ее и потянул в свои легкие сладковатый дым.

"Тяни! Тяни еще, сука!" — паренек стал как-то неестественно хохотать.

Я потянул еще и вдруг почувствовал, что и мне сделалось смешно, и я стал смеяться. Всем было очень весело.

В воздухе летали шарики. Я ухватился за ниточку одного из них и тоже поднялся в воздух. Я летел над толпой. Воздушный поток поднимал меня все выше и выше. Рядом со мной, так же ухватившись за ниточку шарика, летел Плейшнер.

— Оберштурмбанфюрер! Мы летим! — закричал он.

— Летим, Плейшнер!

— Вы видите море?

— Конечно, конечно вижу! Конечно, мой дорогой Плейшнер!

И вот мы уже летели над морем. Внизу белыми полосками стояли корабли на рейде...

Боже мой! Боже мой! Автобусы уехали, а мы остались здесь, на этом обрывистом берегу.

— Да нет же! — сказала Надежда Васильевна. — Вы прилетели сюда на шариках. Разве вы не помните? Вы и Плейшнер прилетели сюда со стороны моря. Я вас первая увидела. Снимите, пожалуйста, эти ваши идиотские колпачки с ваших носов.

Мы сняли колпачки...

— Нужно пробираться в город, — сказал кто-то.

— Нет, нет! — запротестовали мы с Плейшнером, — Только не сегодня! Сегодня там праздник! Там наша юморина! Сегодня туда нельзя!

Мы долго шли по обрывистому берегу. Ветер терзал наши одежды и унес в море шляпку Надежды Васильевны. Она хотела было схватить ее рукой, но не успела. Она оступилась и упала с обрыва вниз... Там, куда она упала, не было песка, там море било прямо в обрыв и шипело пеной. Мы посмотрели вниз, но Надежды Васильевны нигде не было... Не было ни чаек, ни рыб, в которые она могла бы превратиться. Ведь сумасшедшему человеку очень легко превратиться в птицу или рыбу, но таковых за обрывом не было. И мы решили, что она просто растаяла в воздухе. Потому что, когда она упала, то даже всплеска воды мы не услышали...

Иногда мы шли вдоль обрывов, а иногда там, где они становились совсем небольшими и даже совсем пологими, — мы спускались к морю и шли по песку.

В море можно было зайти и нарвать водорослей — они тоже были съедобны. И еще маленькие рачки облепляли наши босые ноги, и тогда мы их тоже ели. Мы шли уже несколько дней. Плейшнер каждый день пересчитывал всех, но два или три человека обычно куда-то пропадали...

Как хорошо бывало нам днем! Светило солнце, дул легкий ветерок, море что-то все время шептало. Оно было такое доброе к нам... А вот по ночам было прохладно. Мы обычно садились где-нибудь под кустами паслена и, прижавшись друг к другу, засыпали. Но некоторые из нас совсем не спали. Они ходили всю ночь по берегу моря и разговаривали с ним.

Какие удивительные рассветы видели мы! Солнце всходило из-за воды такое тихое, такое торжественное. Мы все в это время смотрели на него и не дышали. Это были такие счастливые минуты. Такие бесконечные, длинные минуты счастья...

Потом мы шли дальше...

...Под вечер, когда солнце уже клонилось к горизонту, чтобы уйти спать за степь, откуда-то стали слышны звуки автомобильных моторов, а потом прямо перед нами возникли четыре таких же черных сверкающих никелем машины — такие, какой была та, которую мы видели раньше. Машины остановились недалеко от нас, оттуда вышли люди в черных кожаных куртках и в кожаных штанах. Я сразу же догадался, кто они. Это были люди Мюллера — эсэсовцы.

— Кто вы такие? — обратились они к нам по-немецки.

— Мы не знаем, кто мы, — ответил им также по-немецки Плейшнер.

— Ви есть партизан? — спросил кто-то из них по-русски.

— Нет, мы не есть партизаны. Мы просто идем в Одессу, — ответил им Плейшнер.

— Зачем вам туда? — снова прозвучал вопрос.

— Мы не знаем, — пожал плечами Плейшнер.

— У вас есть оружие? — крикнули сверху снова.

— Нет, мы безоружны, — ответил Плейшнер.

— Тогда мы будем вас немножечко убивать.

— Нет, нет! — закричал Плейшнер. — Мы просто идем в Одессу. Нас не надо убивать.

— Надо, старичок, надо, — лениво донеслось сверху.

И тут кто-то из них выстрелил. Мы все побежали к морю, к обрывам. Мимо меня просвистело несколько пуль. Стали падать убитые, а раненые все еще продолжали петь революционную песню... Мы бежали, а там, на обрыве, был слышен громкий смех и ржание лошадей. Дикие лошади ржали, сгрудившись на обрыве... Стало уже темно, а мы бежали все дальше и дальше, за нами уже никто не гнался, никто не преследовал нас...

Утром Плейшнер снова пересчитал всех и сказал, что не хватает двенадцати человек.

Кто-то сказал: "Апостолы ушли через море"...

И вдруг на обрыве снова появились черные машины и люди с оружием. Снова началась охота на нас. Мы бежали кто куда, кто вдоль берега, а некоторые побежали прямо в море. Впереди меня упал маленький худой человек. Я остановился и перевернул его на спину, и он улыбнулся. Но он улыбался не мне, потому что смотрел куда-то сквозь меня, и я догадался, что он улыбается своей близкой смерти. Он уже знал, что она забрет его прямо сейчас с этого берега под обрывом и унесет куда-то в другую неведомую страну, где ему будет хорошо. Он знал это и тихо затих... Я побежал дальше, но почему-то вдруг почувствовал, что меня сейчас не убьют. Мне даже стало смешно. "Почему я бегу? Ведь меня не убьют сейчас, — думал я. — И Плейшнера тоже не убьют". "Плейшнер, — сказал я ему на бегу, — не бойся, тебя не убьют". "Я знаю, — ответил он, — но мне все равно страшно". Наши преследователи охотились за нами целый день. Они то отпускали нас, и мы думали, что все уже кончилось, то снова появлялись на обрыве и стреляли. "Меня сейчас не убьют", — все равно думал я, но вдруг пуля черкнула меня сверху по голове, будто кто-то ударил по ней хлыстом. На какое-то мгновение я испугался, и уверенность моя поколебалась. Но это было недолго... Мы прятались за камни, залазили в расщелины обрыва, и наконец под вечер обрыв над нами стал высок,

как стена замка, и охотиться на нас оттуда стало не очень-то удобно. Когда стрелять перестали, и гул машин растаял в вечернем воздухе, Плейшнер снова пересчитал всех, и нас оказалось только двенадцать человек. "Апостолы перешли море, — сказал тот человек, который раньше говорил про апостолов, — и вышли на берег целы и невредимы". Да, мы были целы, но наши ноги были разбиты о камни. Очень хотелось пить, и тут... пошел дождь — холодный и недолгий... Одинокая тучка напоила нас, омыла и унеслась в даль...

"Теперь нас больше не будут убивать", — сказал Плейшнер. Мы прошли еще немного, обогнули скалистый выступ, и перед нами открылись огни далекого города... Ночью, когда мы лежали под кустами паслена, вдруг почему-то пошел снег... "Меня долго не убьют, — думал я, — потому что я люблю одного маленького беззащитного человека..." И я уснул. Утром снова взошло одинокое солнце. Оно было как лимон... Кисленькое...

Огни города по вечерам становились, все ближе и ближе... Море в этот день сделалось беспокойным. А берег стал очень каменистый, редкие пляжные островки попадались нам на пути, но они уходили назад, а мы все шли по камням. Когда уже почти стемнело, мы решили обойти еще один выступ и потом заночевать где-нибудь на пологом месте. Мы шли, шли, а пологое место все не появлялось. Море прижимало нас к берегу. Оно бурлило, пенилось, и волны тугие, твердые, как камни, стали бить в наши тела и сбивать нас с ног. Мы хотели повернуть назад, но прошли уже очень много. Нам негде было укрыться от этих волн. Над нами нависал обрыв метров десять в высоту, а внизу уже творилось что-то невообразимое. Море совсем потеряло разум. Оно стало захлестывать нас большими накатами. Мы взялись за руки и крепко держались друг друга. Здесь я и потерял свою тетрадь. Вода вырвала у меня ее из-за пазухи и унесла куда-то. Вдруг позади нас обвалился кусок берега — он с грохотом и шипеньем сполз в море, и оно стало топтать и месить его. Мы повернули назад и вскарабкались по этому рухнувшему берегу. Вода уже не доставала нас. Потом там, где мы были недавно, тоже рухнул берег. Этот не сполз, а именно рухнул, потому что он нависал над морем, как покосившаяся стена. "Вот и все, — сказал один из нас, — мы обманули нашу смерть". "Надолго ли?" — сказал Плейшнер. Там, где мы находились, была небольшая площадка и куст паслена. Мы окружили этот куст, вцепились в его ветки и жались друг к другу, чтобы согреться. Потом кто-то запел революционную песню, и тут вдруг налетел такой порыв ветра, что мы еле удержались на земле и не улетели куда-то. Такого ветра я не встречал в своей жизни. Нам всем, пока он рвал на

куски наш куст, стало страшно и одиноко. Море при свете то исчезающей, то появляющейся луны сделалось стального цвета. И ветер тоже был стальной. Он резал все своими стальными ножами. Он хотел с корнем вырвать наш куст, но мы вцепились в него и не давали ветру убить его. Потом мы стали петь революционные песни...

Так длилось всю ночь и почти весь следующий день. Ветер хорошо подсушил нас. А потом он пропал куда-то. Мы сидели на своем пятачке и не знали, что же нам делать. Внизу было все еще бушующее море, а вверх тянулся обрыв еще метров пять-шесть, наверное. И тогда мы сломали наш куст и стали его ветками ковырять в обрыве ступени, чтобы по ним выбраться вверх. Мы ковыряли этот обрыв, как сумасшедшие, без всякой системы, и у нас ничего не получалось. Тогда мы решили все-таки спуститься к воде и постараться пройти через рухнувший берег, но и это оказалось невозможным. Спасения в воде тоже не было, волны сбивали нас с ног. Кое-как мы снова забрались на нашу площадку и уже сидели там смиренно, ничего не предпринимая.

Господи! Какой я был глупый. Раньше, когда у меня была тетрадка, то я записывал туда всю жизнь Плейшнера и всякую чепуху. А теперь я сделал открытие. Ведь можно же все записывать в уме. У меня ведь очень хорошая память. Я мысленно открыл новую чистую тетрадь и мысленно написал в ней первое слово; и это слово было... курочка. "Господи, как хорошо, что я могу писать вот так, просто, без всяких инструментов, без ручки и тетради... Нужно только стараться не выпускать эту новую тетрадь из своего воображения, а писать (о, как это смешно) можно даже собственным пальцем"...

...Тот, кто решает покончить жизнь самоубийством, поступает, по моему, очень глупо. Потому что наша жизнь — это кино. Каждый смотрит свое собственное кино, и в один из моментов ему кажется, что плохая часть фильма слишком затянулась, и он выходит из темного кинозала. Но Великий Режиссер предусмотрел в этот момент такой поворот сюжета, что поддержишь наш уходящий зритель в темном кинозале еще немного, и тот поворот оказался бы пусть не хеппи эндом, но чем-то иным, чем-то переломным в так называемой "судьбе человека". Мне, конечно же, ближе фильм "17 мгновений весны", чем какой-либо другой. Этот фильм резко отличается от всех других фильмов своей таинственностью, своим пафосом, своей нежной иронией и самоиронией. Да, в этом фильме есть сцена, где я ем печеную картошку и пью русскую водку втихаря, так, чтобы ни одна фашистская морда не заподозрила меня в моем предназначении.

Что нужно, чтобы чувствовать себя хорошо в любой компании? Выдержка! Нужно контролировать ситуацию и себя в ней. Через несколько дней после того как мы расстались с Плейшнером на Привозе, пошел слух, что в Одессе будут отмечать Октябрьские праздники. Что еще не все потеряно из нашего прошлого. И хотя нам, советским шпионам, не положено появляться на людных местах, я, пожалуй, на этот раз изменю этим правилам. Нет, недаром я привел в порядок свою форму. Недаром я выдраил сапоги до зеркального блеска...

Конец первой части

Часть вторая

Моя фамилия Нуйкин. К вышеизложенному тексту я не имею никакого отношения. Но вынужден вмешаться. Эти старые козлы — так называемый Штирлиц и Плейшнер — своим мерзким и неприличным поведением не дают нормально жить мне и моей жене Нуйкиной Раисе Ивановне (в девичестве Чмых). Вот уже год, как эти шалопаи вошли в ее бизнес и теперь, прибрав к рукам шесть мусорных баков, вытеснили мою жену из вышеизложенного бизнеса. Ну да хрен с ними, с этими, так сказать, горешпионами. Моя жена — женщина добропорядочная, мать двух с половиной детей (за половину мы считаем нашу собачку Тяпу, которая на правах полноценного члена семьи сидит с нами за столом, ест борщ, пьет водку и кашляет). Но дело не в этом. А в том, что, втесавшись в бизнес, вышеизложенные господа-товарищи, не стесняясь общественности, нагло похитили рукопись неизвестного писателя, которую первой в мусорном баке № 3, стоящем возле аптеки, нашла моя жена Нуйкина Раиса Ивановна. Взявши у нее эту рукопись якобы для того, чтоб сдать в приемный пункт как мукулатуру, они на досуге вчитались в нее и решили в приемный пункт не сдавать, а издать ее под своими пошлыми именами как книгу мирового значения. Но дело в том, что эту рукопись написал не неизвестный писатель, как было сказано выше, а, извиняюсь за выражение, я лично. Но как-то в пылу гнева на всех и вся не сжег ее, как положено, а выбросил в вышеозначенное место.

Теперь же, когда дело приняло серьезный оборот, я как писатель Нуйкин хочу восстановить нахлынувшую на нас на всех справедливость и предъявить свои права в означенном деле. Скажу сразу, что в прошлую субботу, когда эти два балбеса спали, я справедливо выкрал у них свою

рукопись и сел за ее тщательную переработку. Но моя жена Рая (в девичестве Чмых), чтобы усугубить ответственность и опечалить меня, подкравшись сзади, ударила меня по внешнему контуру головы твердым предметом, и когда я отключился умом своим от происходящей действительности, выкрала вышеозначенную рукопись и скрылась вместе с нею неизвестно куда, разнося микробы и плесень всей своей внешностью. Прошу правительство Украины оказать мне содействие в поисках жены и рукописи под название "Любовь и гвозди". Иначе произойдет что-то непоправимое. Я такой человек, что если меня вовремя не свяжут, то могу натворить много страшных дел вплоть до самообороны. Это не угроза, а просто объективная реальность всего вышесказанного.

Моя фамилия простая — Сарайкин. Я также не имею никакого отношения к приведенному здесь тексту, хотя на стр. 38 моя фамилия, кажется, употреблялась, хотя, может быть, просто слово — сарай или же что-то подобное. Но это к делу не имеет никакого отношения.

Моя фамилия Подзаец. Я инвалид. Но я люблю крепко выпить, а потом танцевать. Еще я сильно люблю девочек. Девочки — это моя страсть. Каждую из них я так бы крепко обработал, что наблюдающему со стороны мою похоть сделалось бы не по себе. К вышеизложенному тексту я также не имею никакого отношения. Просто захотелось хоть как-то заявить о себе, о своей нелегкой судьбе. А вот где я потерял сначала шестнадцать гривен, потом четырнадцать, потом восемнадцать, потом семь и так далее — этого я вам не скажу. Это не ваше собачье дело.

Моя фамилия Свистунов. Это старая дворянская фамилия. Свистуновы когда-то имели обширные поместья. Ели рябчиков с ананасами, пороли крепостных и жили, скажу я вам, не бедно. Сейчас крепостных у меня нет. Есть жена и дочка, я их воспитываю в строгой руке и взгляде. Боятся они меня. Уважают. Я что хочу, то с ними и делаю. Ну а как же иначе? Пусть знают, с кем их свела судьба. Со мной! Я гордость нашего дворянского сословия. При советской власти, конечно же, приходилось всеми силами скрывать свое происхождение. Теперь можно. Жаль, конечно, что документов, подтверждающих мое происхождение, у меня нет. Их пришлось уничтожить в свое время, но сейчас я требую восстановить мои документы. С этим требованием я обращаюсь к вам, господа Штирлиц и Плейшнер. Прошу вашего содействия в создавшемся положении.

Во время войны я не выдал немцам ни одного нашего коммуниста, ни одного еврея и ни одного партизана. Хотя мог бы. Прошу учесть этот мой гражданский поступок и содействовать. Даже споспешествовать, как говорили когда-то мы — дворяне.

Моя фамилия Иванов. Вы слышали такую фамилию? Нет? Это очень печальная фамилия. У нас три таких печальных фамилии: Иванов, Петров, Сидоров и Рабинович. Бывало, вот так все втроем сядем играть в карты — Рабинович сдает, а я уже Петрову подаю знак, мол, у меня туз червей. Глядишь — и выиграешь какую-то мелочишку. Мы по-крупному никогда не играли. Так, по копейке, не более. Но к старости лет я скопил несколько бутылок, заполненных копейками. Советскими, правда. Их у меня восемь бутылок, а украинских копеек всего только одна. Целую всех в жопу. Ваш Иванов.

Моя фамилия Овсянкин. Лошадиная, так сказать. И то правда — я очень люблю лошадей. Хорошая раньше была колбаса — так и называлась, "Конская". Теперь что-то такой не делают. То ли кони перевелись, то ли нас, гурманов, меньше стало. К вышеизложенному тексту Иванова, Петрова и Сидорова я никакого отношения не имею. Заявляю это во всеуслышанье. Я никогда не играл с ними в карты, а с Рабиновичем я всего один раз выпил водки и больше не пью. Он сказал, что пить со мной — брезгует. Но почему брезгует, этого он мне не сказал. Неужели потому, что я не всегда тщательно слежу за своим взглядом? Он у меня тяжел. Зато ноги у меня, как новые, никогда не воняют. Это большая редкость среди нас, блондинов. А то бывает так, что навоняют полный трамвай, а я должен ехать и нюхать. Надо в трамваях вешать специальные объявления: "Граждане независимой Одессы, просьба сдерживать ваш пыл в общественном месте". Под таким объявлением я бы подписался всей душой своей пылкой и порывистой.

Моя фамилия Подзаец, но я женского рода. Раиса Андреевна. О себе мне нечего сказать. Я человек незаметный. Не то, что эти шпионы. Развелось их — прямо шагу негде ступить. Теперь и пенсии получают солидные, и дачи у них с заборами, и всякие привилегии. Но ничего. Придет еще наше время. Будем резать шпионов и предателей нашей родины. Когда придет наше время, я первая возьму в руки кухонный нож и выйду на улицу. И все мы выйдем с ножами, за наше будущее. А сейчас я никто. Так

себе, служу на почте и многое вижу. Дома у меня все ножи наточены. Слава одесской юморе!

Моя фамилия Подопрыгора. Понятно. Ну, так вот. Долго базарить не буду. Вот мой кулак. В этом кулаке я сжимаю что? Правильно — концентрацию власти и силу. Служу в милиции. Штирлица в обиду не дам. Он наш человек. Плейшнера повесил бы за яйца на фонарном столбе. Он предал родину. Переметнулся к этим блядям и теперь думает, что мы его не достанем. Вот этим вот кулаком я стукну его по голове сверху — и все! Люди, стремитесь к справедливости! Берите пример с нас, с милиции. Нас не надо бояться. Доверьтесь нам. Мы ваша защита. Последнюю рубашку отдам, если вдруг увижу раздетого. Последним куском заткну пасть голодному. Сексуально озабоченного лично направлю к проститутке. Интеллигенту дам книгу. Школьнику букварь. Слесарю — слесарный инструмент. А двоечника выпорю ремнем по голой жопе. По-братски всех обнимаю. Люблю. Нет слов. Просто нет слов, чтобы выразить все мои чувства человеческими словами. Поэтому просто благодарю всех вас и желаю счастья.

Моя фамилия Пивные-Дрожжи. Шесть лет я уже сижу в дурдоме. Меня здесь лечат. Внушают мне, что моя фамилия Плейшнер. Но я ведь точно знаю, что Пивные-Дрожжи. Так у меня и в паспорте написано, и во всех других справках. И даже на этикетках. На коробочках и на баночках. Я никогда не был Плейшнером. Это чушь какая-то. У них все здесь Плейшнеры и Штирлицы. Так они и меня хотят подогнать под эту гадость. Нет! Нет! Нет!

Я творческая личность. Я художник. Маститый! Я гордость нашей живописи. Я никогда не писал картин человеческим калом, как того они от меня здесь требуют. Только всего один раз я написал и предоставил на выставку портрет лидера всей нашей эпохи этим раствором, и они тут же посадили меня на излечение. Но живопись превыше всего!

Творческий спад был у меня подряд несколько дней. Теперь все в прошлом. Да, я забыл сказать — моя фамилия Негодяйкин. Из этих букв можно составить слово зов, воз и слово выхухоль. Всем привет.

Если бы моя фамилия была Балалайкин, то я бы удавил того, кто дал мне такую фамилию.

Моя фамилия Жетон.

Моя фамилия Чтож. Пишется без вопросительного знака в конце. Я мужчина традиционной женской ориентации, не то, что эти пидарасы Штирлиц и Плейшнер. Но что ж (здесь "что ж" — это не моя фамилия) поделаешь, если развелось их сейчас столько, что спасу нет. В любой подъезд зайдешь, а они уже там стоят, тискают друг друга — гомики! Пидарасы чертовы. Это же такая мерзость! Я всего только один раз попробовал — и теперь только плюю и каюсь. Нет, я не пидарас. Я простой человек. А к этим пидарасам больше и на пушечный выстрел не пойду. Куда приятнее, скажу я вам, иметь дело с порядочной женщиной. С чаепитием, с разговором неторопливым, со свежими бубликами, с чистой кроватью. А не в подъезде раком, и чтоб тебя дрючил какой-то пидарюга поганый! Нет! Больше ни за какие деньги! Ни за какие гривны и даже доллары. И даже за 100 долларов я больше никогда не стану в позу идиота. Пусть другие идиоты становятся в эти позы. Теперь даже баночку с вазелином я решил выбросить раз и навсегда. Вот смотрите — беру эту баночку, подхожу к форточке и... почему-то рука не хочет ее выбросить. Что такое? Не хочет — и все! Ну и рука же у меня... С приветом, ваш Чтож.

Когда членоложеством занимается наша элита, т. е. профессура, видные актеры, люди шоу-бизнеса — это еще простительно. Но когда в это тонкое дело лезут всякие токаря, сантехники и прочие дворники, то это просто гадость.

Моя фамилия Найденов. Я адвокат. Членоложеством я занимаюсь уже 40 лет и не нахожу в этом ничего предосудительного. Да, я был в близких сношениях со Штирлицем и Плейшнером. Штирлиц мне понравился больше. Он более деликатный, более тонкий человек. У него отличный вкус. Это человек — из той еще закваски нашей интеллигенции, которая вершила культуру и на ее вершине создавала такие произведения, как "Любовь и гвозди" (роман), "Любовь и серп" (повесть), рассказы "Согнутый гвоздь", "С любовью не шутят" и прочее. На этих произведениях выросло не одно наше поколение. Слово "поколение" надо читать правильно, без всяких там эротических для себя воображений. Да, встречаются некоторые экземпляры, у которых это самое "поколение" может кого-то привести в ужас. Но только не меня. Я люблю наше поколение и в том, и в ином смысле.

Будьте здоровы, дорогие мои.

Моя фамилия Дача. От лица нашего правительства и от лица всех умных людей нашего государства я хочу сказать следующее: "Бойтесь данайцев, дары приносящих!". Т. е. ничего ни у кого не берите просто так. Даже если к вам на улице подойдет незнакомый человек и протянет вам 6 рублей и 30 копеек — не берите! Я однажды взяла. И ничего хорошего из этого не вышло. Только одно плохое. Не доходя до магазина, спотыкнулась и подвернула ногу, да так, что в стопе что-то хрустнуло, и две недели я вообще ходить не могла. Вот и все, что я хотела сказать. Ваша Дача.

Моя фамилия Раздача, Елизавета Иосифовна. Я внебрачная дочь... (да вы и сами уже догадались, кого). Да. Этого человека. Прошу прощения — а вы когда-нибудь видели фотографию моего лица рядом с портретом известного вам человека? Одна копия — говорю я это вам без улыбки и лени. Ленин здесь ни при чем. Были люди и повыше Ленина. Мы, т. е. моя мать работала в то время уборщицей в Кремле. В чине капитана. А как же! Это вам не просто по улице метлой махать. Она убирала кабинеты видных людей. Таких видных, что одно имя их приводило в трепет Гитлера и всю его свору. Ну а потом появилась я, и маму уволили с работы. Сначала хотели расстрелять, а потом передумали. Набили ей карманы деньгами и отправили в Сибирь на перевоспитание. Там я и родилась. Вот. Пошли вы все в жопу.

Моя фамилия Калашников. Нет, я не изобретал никаких автоматов, никакого огнестрельного оружия. Моя профессия мирная — я травлю крыс, мышей, тараканов, клопов. По заказу вылавливаю на вашей собачке или кошечке блох. Если у вас есть вши, я берусь их ликвидировать. Мой адрес: Москва, Кремль, Калашников. Меня там все знают. А если кто постесняется спросить, то я часто бываю в Киеве наездом. Останавливаюсь прямо в Верховной Раде. Но здесь я уже прохожу по фамилии Калашниченко МIRON Саввович. Прошу любить и жаловать. Господ Штирлица и Плейшнера именно я избавил от застарелого педикулеза. Особенно мне долго пришлось повозиться с Плейшнером. В его тело ввелись насекомые редкой, так называемой стальной породы, крепкие на раздавливание ногтями и стойкие ко многим препаратам специального назначения. Еще раз повторяю — педикулез это совсем не то, что вы подумали в эротическом смысле этого слова. Это относится только к вошам. Вы поняли меня? Да, конечно же, бывает так, что и педики страдают педикулезом, но это уже совершенно другая форма разговора. Другая форма оплаты и чистоты

правов. Другая ориентация. А вошка — это очень интересное животное. От затхлости помещения она может появиться на теле сама по себе, без всякого внешнего воздействия. Просто вылезет из-под кожи, и вот вам — здравствуйте! Приехали. Начинает кусаться. У человека начинает свербеть. Нет, керосин здесь не поможет. Тут нужен специалист моего образа жизни. И я наложением рук на вошку избавляю ее от вашего присутствия. Желаю здравствовать.

Сколько развелось у нас этих специалистов, сколько всяких сил таинственных они понапускали вокруг! Один воду заряжает, другой пьет эту воду, и у него ноги подкашиваются. Я тоже сразу же, как только вышел этот закон про курей, тут же схватил топор и пошел во двор курей рубать. Перерубил всех, а потом, весь в куриной крови, стал по двору бегать, как петух кукарекать и соседей пугать. Потому что это село. Да, правда, было дело. Прибегает тогда мой младшенький и кричит: "Папа, там за обрывом народ на оползне сидит и вылезти не может, и море бушует, и они в море не могут сунуться".

Бывают такие тексты, которые завораживают читателя своей нудностью, скукой и пошлостью. Но читатель уже ничего не может с собой поделаться. Он читает дальше. С отвращением, но читает. Он просто сделался рабом своего любопытства. Ему интересно сквозь эту тяготию узнать, а что же будет дальше? А дальше продолжается все то же, и конца-края не видно бесконечной серости и тупости автора и его повествования. Так что же нам остается делать? Ничего. Читать дальше. Иного выхода у нас нет. К тому же, Плейшнер должен вот-вот разделаться с авторитетом в законе. А куда мы дели Штирлица во всей этой катавасии? Я уже забыл. Не то в зоопарке оставили, не то в бункере Гитлера забыли. Уважаемый читатель, подскажи ты мне, автору, куда мы дели Штирлица? Не то я начну описывать все сначала до полной победы коммунизма.

Моя фамилия Шлакоблочный.

А моя фамилия... (Никто не угадает какая!) Моя фамилия Клоб. Прошу не путать с известным домашним животным. Мы, Клобы, расплодились по нашей земле, еще начиная с Петровских времен, а затем при Екатерине II двинулись дальше и дошли до самого Херсона. А из Херсона уже перебрались в Одессу на ПМЖ. Клобы — это вам не Чумаки какие-нибудь, не Кашпировские. У нас дар! Если кто о нас что-то не так думает — мы тут

же вычисляем и записываем. Вот так-то. Со Штирлицем я встретился в банке, где он менял найденные им под забором в очень плохом внешнем виде пять американских долларов. Больше я его не видел. И нечего приставать ко мне! Не видел я его! Никого я больше не видел! Отстаньте! Пошли в жопу все! Сколько раз можно повторять, что не видел я его больше. А вот немцев трогать не надо. Они все там спят в штанах и шляпах.

С приветом, уставший от вас всех, Клоб.

Вон, смотрите! Смотрите — сороконожка побежала. Моя фамилия Одеядьцев. Наверное, из-за нее, из-за этой фамилии я люблю баиньки. Спаточки. Где бы то ни было. Спокойной вам всем ночи. Не держите мочу в мочевом пузыре. Выпустите ее перед сном в унитазики. Ложась баиньки, не забудьте везде выключить свет. И пусть вам как умному человеку приснится, что вы после смерти попали в рай. В раю всегда лето. Поют птички. На деревьях висят фрукты. Все можно кушать, и яблоки тоже. Тихо играет невидимая музыка. Много света. На всех легкие льняные одежды. Никакой синтетики. Все ходят, прогуливаются. По дорожкам и аллеям парка. Вот пошел Пушкин вместе с Тарасом Григорьевичем Шевченко. Шевченко его мягко укоряет:

- Не любил ты, Саша, Украину...
- Любил, любил, но женщин больше!

Примерно в таком же тихом задушевном разговоре проводят свое время и другие обитатели рая. Всем им очень хорошо...

Баиньки, мои дорогие. Баиньки. Моя фамилия — Одеядьцев. Запомните мою фамилию. Пусть она всегда будет с вами. Пронесите ее через всю свою жизнь. И пусть жизнь ваша будет как сон. Пусть все хорошее будет реальным, а все плохое уплывающим в даль.

Честно вам говорю — моя фамилия Фамильярный. Честно вам говорю еще раз, что писать надо умеючи. Содержание написанного не важно. Важно то, как это написано. Писать надо аккуратно, строго соблюдая размер букв, расстояние между строчками и т. д. Честно вам говорю, что от хорошего почерка и правильного размещения текста на бумаге зависит многое. Честно вам говорю, что лучше один раз написать красиво, чем потом сто раз переписывать. Поскольку моя фамилия выглядит нахально, то я вынужден приспособливаться к своей фамилии. Хочется сказать честно, что я человек скромного поведения в быту, но на улице крайне агрессивен. Честно вам говорю, что все будет хорошо.

Я как человек робкий, то сильно боюсь собак. Обхожу их на улице или в квартире, если они там присутствуют. А кошек я не боюсь. Меня еще ни одна кошка никогда не укусила. А собаки кусали. За ногу. За ботинки. За плащ. За сумку с куриными потрохами, когда я шел с базара в прошлую пятницу. У собак очень крепкие зубы. Я когда-то учился на стоматолога и знаю это до слез. Еще они бывают бешеные. Особенно весной и осенью, когда они сбиваются в крупные стаи и путем открытого секса делают щеночков. Щеночков я люблю. Они не кусаются. Моя фамилия по матушке — Сердобольный, а по отцу Ворона. Мне очень хотелось, когда я получал паспорт, взять дедушкину фамилию. А она у него вот такая: Окраец. Но без взятки зачислить меня на эту фамилию не пожелали и дали мне фамилию папы.

Это снова я — Фамильярный. Честно вам говорю, что я против Штирлица и Плейшнера ничего не имею. Пусть они живут как хотят. Пусть едят котят. Это их дело вкуса. Но почерк у них отвратительный — и у того, и у другого. Собаки, позаканчивали разведшколы, а почерк — как куриной лапой пишут. Вот, например, пишет Штирлиц. Посмотрите, разве можно что-то разобрать? Будь я графологом, я бы сказал, что, судя по почерку, Штирлиц — форменная зараза.

Моя фамилия Штирлиц. Часто в момент совокупления с женщиной я почему-то ловлю себя на мысли, что я занимаюсь чем-то второстепенным. Особенно, когда наши тела отражаются в зеркале. Порой мне становится смешно, глядя на это отражение, и я начинаю чувствовать себя глупо, пошло и безнравственно. Вот сейчас пойдут эти горестно-сладострастные судороги... зачем они мне? Я старый человек, мне хочется умных разговоров, игры ума, каких-то экзальтированных движений души... и вдруг эти судороги. При этом кричишь, как дурак. И она кричит. А с чего кричать? Смешно все это... Страсть ушла... Остался тупой бесстрастный секс, как какая-то идиотская работа... Грустно все это. Но другого ничего нет. Приходится терзать другое тело, не чувствуя в том смысла. Раньше в моем теле жила страсть, и картина, конечно же, была иная. А сейчас слово *была* почему-то не делает меня печальным. Да, так предписывалось Адольфом Гитлером. Мы все выполняли свой долг.

Это снова я, Фамильярный. Я вам еще не надоел? Нет? Ну, вот и хорошо. Я буквально скажу два слова и тут же уйду в тень. Честно вам гово-

рю. Мои слова такие: Штирлиц не прав. Он просто не может уже по старости лет своих отдаться сексу, как музыке. Лично я наслаждаюсь от каждого сантиметра тела женщины. От каждого прикосновения ко всему хорошему, Ч. С. Г. (вы догадались, что это значит). Правильно. Я всегда блюду обоюдоострые ощущения. Еще К. Марс сказал, что жизнь нам дана в ощущениях.

Снова осень. В парке, в сером его воздухе медленно скользят, слетая с веток, одинокие сирые листья. Их так жалко. Черная ворона, как кусок угля сидит на голой ветке и уныло каркает. А вот идет дама с синим зонтиком. Он так резко выделяется на фоне одиноких листьев. Их уже так много на земле, и все они одиноки. Каждый превращается в прах со своими глупыми мыслями... Синий зонтик проплыл по аллее и скрылся в затуманенном пространстве. Одинокий эксгибиционист затаился за темным стволom конского каштана. Он так старательно показывал предмет своей гордости даме с синим зонтиком, но та проплыла перед ним, как прекрасная рыбка в аквариуме, и скрылась. Эксгибиционист спрятал свой озябший инструмент и зябко поежился. Нет, не везет ему сегодня. Разве показать его этой пробегающей мимо собаке? Нет, рискованно. Еще возьмет и укусит. "Пойду в сторону базара, — подумал уныло эксгибиционист, — может быть, там из-под полы как-то. Но там меня уже многие знают. Прощлый раз побили сильно. Ребра болят. Но я же не мазохист. Я совсем другое. У меня свой бздык. Нет, пожалуй, постою еще здесь..."

Листья описывают в воздухе разнообразные балетные пируэты. Они скользят то плавно, то, вдруг встрепенувшись, меняют направление, кувыркаются в густом сером воздухе, пропитанном липкой водою. Но запах осеннего парка ни с чем не сравнимый. Так пахнет светлая печаль об ушедшем детстве. Которого, уже кажется, и не было...

Ежась на парковой скамье, лежит старый Плейшнер. Он смотрит на опадающие листья, и ему почему-то до слез жалко себя — маленького. Не взрослого, нет, а маленького, идущего по аллее парка, держась за теплую руку мамы. Он все забыл уже, кроме ощущения этой теплой ру...

...Я вытолкнул этого словоблуда из нашего повествования. Моя фамилия Филимонов. Я вытолкал этого прохиндея. Пошел он в анус. Я академик. В академии наук я занимаю видное место. В филологическом плане. "Секс и только?" — эта тема волнует не только меня. Весь советский народ, когда шел вышеозаглавленный фильм, задавал себе этот вопрос. И не нахо-

дил ответа. Да, здесь есть над чем поразмыслить. Так что, я надеюсь, мы поразмыслим вместе с вами, но сейчас меня кто-то выталкивает, кто-то выта...

...Я те дам, сука! Я Фамильярный. Честно вам говорю — все документы, касающиеся Штирлицевой близости с женским полом, я храню у себя. В тайном месте. Нет! Еще не время ковыряться в грязном белье нашего героя. В морду дам тому, кто по...

...Хамло! Лезет, куда его не про...

...Сука! Сучара филологическая!

Серая, как осенний воздух, слеза выкатилась из глаза и потекла, коснувшись свежей раны на скуле. Рана запекла, впитывая в себя соль слезы. "Приятно печет", — подумал Плейшнер и стал плакать, уже не сдерживая своих слез... Замерзший эксгибиционист подошел к нему:

— Старик, ты чего?

— Да так. Это я так просто...

— Это у тебя от осени... Ты от осени подальше держись...

Конец второй части

...Прошло сто лет.

...Следующая часть. Третья или четвертая? Я не помню, какая. Кажется, все-таки четвертая. Ну и хрен с ней. Какая разница? Да, случился перерыв в нашем писательском творчестве, ну и хрен с ним, с этим перерывом. Даже хорошо, что он случился. Как давно я не брал в руки авторучку и начисто забыл все, что пришлось насочинять ранее. Кажется, была полная фигня. Герои — какой-то Штирлиц-идиот, идиот-Плейшнер. К чему все это? Вспоминать стыдно...

Пробуждается совесть от всех этих воспоминаний, и делается нехорошо на душе. Написал всякую фигню, как эти два идиота на воздушном шарике летали. Тоже мне, — новшество. Сейчас в нашей новомодной литературе на чем только не летают. На всяких предметах и без них — просто так, сами по себе, летают все, кому не лень: и главные герои, и не главные, и сами авторы, и их жены, и их любовницы. Какая гадость все эти полеты!

Нет, в этой части мы Штирлица и Плейшнера взашей изгоним из наших страниц, чтобы и духу их близко не было. Наберем новых героев, мас-

совку — заменим все начисто. Все интерьеры, пейзажи, все натюрморты... Но тут в комнату вошел Штирлиц.

— Попрошу вас выйти вон! — сказал я строго и нахмурил брови.

— Разрешите доложить! — начал бодрым голосом Штирлиц, но я поднялся из-за своего писательского стола и вышвырнул его в зашей, за двери.

— Пошел вон, дурак! И чтоб ноги твоей больше здесь не было! — крикнул я вдогон этому идиоту...

Да, уважаемый читатель, вот так порой приходится поступать нам, писателям, со своими не в меру раздувшимися героями. Взашей — и точка!

Пришла пора брать свою судьбу в руки. Задуматься о будущем. Пофилософствовать в меру, развить кое-какие свои мысли, а не идти на поводу у каких-то идиотов. У них свой мир, а у нас пусть будет свой, более возвышенный мир, более духовный. Нужно стремиться к духовности как в быту, так и в литературе. Не показывать в ней каких-то придурков, а наоборот, стремиться отразить во всей его наготе человека красивого, умного, с богатым жизненным опытом, человека не со скудной биографией, а со сложной, красивой, значительной. С такой, чтобы читатель, войдя целиком и полностью в подоплеку романа, мог вздрогнуть, оглянуться на свою прожитую жизнь и плюнуть себе в лицо, стоя против ветра в чистом поле. Вот такую судьбу, такую биографию мы возьмем на наши страницы...

Но тут вошел, кто бы вы думали? Правильно! — Плейшнер.

— Попрошу выйти, — сказал я, строго сдвинув брови до полного неузнавания лица.

— Я только хочу спросить, — пропищал Плейшнер жидким, как разбавленная сметана, голосом, и мне стало его жалко.

— Ну?..

— Баранки гну! — вдруг выкрикнул Плейшнер и выскочил за дверь, показав мне фигу.

"Вот сволочь", — подумал я про себя и утратил мысль своего нового повествования... Перечитывать все то, что я написал выше, я не стал (я никогда не перечитываю свою писанину), а просто решил, вытянув ноги, посидеть у камина со стаканчиком хереса в руке урожая 1945 года. Вспомнилась почему-то одна женщина, которая...

Одну минуту: в дверь кто-то скребется. Если это Плейшнер, то я сейчас покажу ему, с кем он имеет дело.

Но это оказался Штирлиц. Я открыл дверь и, сурово насупив брови, спросил:

— Скажите мне, Штирлиц, куда впадает Волга?

— В Каспийское море! — бодро ответил он и стал было уже снимать свой китель, чтобы повесить его на спинку стула — так, как он делал это всегда в прежней нашей с ним жизни.

— Попрошу прекратить, — сказал я строго.

— О чем это вы, мой фюрер? — озадаченно взглянув на меня, спросил мой гость.

— Во-первых, я вам не фюрер, а во-вторых, вы нахальный клоп. Я только что выставил вас за дверь, а вы теперь вешаете свой китель в этом помещении.

— Но позвольте! — стал вдруг в позу Штирлиц, — Попрошу соблюдать культуру вашей прямой речи, мой фюрер! Я вам не какой-нибудь клоп самородный! Я есть фигура вашего произведения и попрошу воздерживаться от подобного тона!

Штирлиц топнул ногой и пошел на меня грудью. Я, признаться, слегка струхнул, но, чтобы не уронить свою честь, вооружился цинизмом.

— На кого прешь, сволочь?! — спросил я ядовито и посмотрел Штирлицу ровно в переносицу.

— Меня взглядом не возьмешь! — так же ядовито ответил Штирлиц и уперся своим взглядом в мою переносицу.

Я уловил сильное давление его взгляда и стал было уже отклоняться назад, но тут в комнату влетел Плейшнер с поллитровкой.

— Фу! — выдохнул он. — Еле достал! Перед самым закрытием успел проскочить в дверь — и вот.

Он поставил поллитровку на мой письменный стол с властным стуком доньшка об столешницу и вдруг, как старая шлюшка запричитал:

— Ну что вы стоите, давайте стаканы, сволочи, стаканы прошу я у вас! Ну что ты смотришь, вылунок?! — это он сказал уже прямо мне. — Стаканы давай!!

— Позвольте! Кто здесь писатель, а кто герои подзаборные? — возвысил я свой голос.

— Ты что, не понял еще?! Я здесь писатель, — рявкнул Плейшнер и пошел на меня грудью, выставив вперед два пальца правой руки, как бы для выкалывания глаз.

— Что это за фигня? — обратился я к Штирлицу, ища в нем поддержки всем своим писательским видом.

— Стаканы давай, жлоб. Сказано же тебе, чтоб без всяких хамских выражений стаканы дал, фюрер ты мой помойный! — произнес Штирлиц.

Я пошел за стаканами, в недоумении пожимая плечами. Когда вернулся, то тут же, прямо в лоб спросил Плейшнера:

— Так это вы, выходит, писатели тут? А кто же тогда я?
— А ты поц! — сказал Плейшнер и стал разливать водку.
Разлив ее, он сунул мне мой стакан и как-то ядовито сказал:
— Пей, шуток не понимаешь, поц.

Я выпил. На душе стало легче. В голове прояснилось. Плейшнер и Штирлиц куда-то исчезли, хотя полная нетронутая поллитровка так же стояла на столе, как часовой на посту. Эту поллитровку подарил мне в 1945 году сам Сталин. С тех пор она стоит на моем писательском столе нетронутой.

Странно все это. Почему порой хочется вот так вот взять и раскрепоститься, ни о чем не думая, довериться своей писательской руке, ее свойству — писать? Голова порой пухнет, но разве не так же писали Толстой, Гоголь, Тургенев, Штирлиц и Плейшнер, Дюймовочка, Брежнев, в конце концов? Ведь это он, делая очередную запись в своем дневнике, писал: "Утром хорошо помыл голову, расчесался. Затем ко мне зашел Подгорный. Сыграли в дурачка. Я выиграл. Решили половой вопрос сессии поллитбюро".

Конец энной части



Стучащий

Денис Иванов отсутствовал дома более шести месяцев. Когда его молодая красавица жена увидела мужа, спускающегося с корабля, она побежала к нему и, повиснув на его загорелой шее, загородила движение по трапу. В этот момент, когда его уставшие товарищи выстроились в очередь за ним, ему показалось, что прошло столько же, если не больше — хорошо, что они отнеслись с пониманием, и он не услышал и слова упрека, только доброжелательные шуточки.

Еще не так давно он считал свою любовь к Марине безнадежной, а сейчас у них была четырехлетняя дочь, мячиком прыгавшая около ног.

Нежно заглядывая в глаза жены, он не мог не заметить в них плохо сокрытый страх, который обморочной бледностью оттенял тонкие черты ее лица. На его вопрос о самочувствии она ответила, что все хорошо, и продолжила его целовать, но он не сомневался, что она что-то скрывает, и по дороге домой утвердился в этой мысли. В его голове роилось множество самых разных предположений, но ни одно из них, как оказалось потом, не было даже близко похоже на реальность.

Незадолго до того как он ушел в море, они приобрели недорогую квартиру в одном из спальных районов города. Уезжая, он оставил жене деньги на ремонт и новую мебель и оказался приятно удивлен, увидев вместо купленных по дешевке голых стен дышащую теплом и уютом квартиру.

Вместе с тем, осваиваясь в ней, он заметил, что вид у нее нежилой. Еда в холодильнике была упакованной или только открытой, мусорное ведро было чистым, в ванной не оказалось многих туалетных принадлежностей, необходимых в повседневной жизни. Он обратил на это внимание жены, и она ответила, что предпочитала ночевать у своих родителей; ее работа в аспирантуре занимала много времени, и она не могла совмещать ее с болеющим ребенком и ведением домашнего хозяйства.

Денис не придавал этому большого значения, соскучившийся по жене, он думал совсем о другом, и первая в новой квартире ночь пролетела для него незаметно, как сон.

Следующие несколько дней ничем не отличались от первого, и даже бледность жены и не проходящий страх в ее глазах стали привычными для него.

— Не бойся, я теперь с тобой, — успокаивал он.

Марина в ответ лишь молчала. А спустя еще несколько дней страх до-